

<ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ «ВВЕДЕНИЯ В ИСТОРИЮ XIX ВЕКА» Г. ГЕРВИНУСА>¹

«Абсолютизм исполнил свое призвание: повсюду низверг власть аристократии, вредную для общества, пробудил в народах сознание единства национальным направлением своей политики, открыл всем классам более равномерный доступ к образованию, дал простор трудолюбию низших сословий, защитой от аристократических насилий и привилегий проложил путь к мысли о всеобщей политической равноправности, ввел, если не по форме, то по существу, демократическое устройство. Абсолютизм приготовил демократию в тех странах, где теперь народ или представительные собрания отняли у него самодержавие, и продолжает готовить ее даже там, где он, еще сохраняя свою власть, считает нужным и воображает действовать в противность этому своему призванию».

(§: «Абсолютизм нового времени».)

В этом отделе о роли абсолютизма у Гервинуса чрезвычайная спутанность понятий, которая, впрочем, господствует в большей части исторических и публицистических рассуждений об этом предмете. Взгляд более верный, хотя все еще не совершенно свободный от прежнего заблуждения, высказан, например, Боклем в «Истории английской цивилизации»². Не зная, удастся ли нам написать к этой книге Гервинуса дополнение, которое мы желали бы написать, мы пока просим читателя обратить внимание на коренную мысль Бокля, что история движется развитием знания. Если дополним это верное понятие политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни, то получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обуславливались развитием трудовой жизни и средств материального существования. Влияние других исторических элементов было по преимуществу регрессивным.

Примеч. переводчика.

«В начале средних веков римская всемирная империя была для новых поколений единственным примером и блестящим примером. Мысль о ее восстановлении становилась мечтою честолюбия первых завоевателей Италии. Карл Великий осуществил ее в своем громадном государстве, границы кото-

рого почти совпадали с границами христианского мира³. После того целые столетия она продолжала существовать, как политическая задача, и сохранялась до сих пор, как политическая фикция. К этой идее римской империи, светского всемирного царства христианский Рим прибавил идею духовного всемирного царства, когда, по распространении ислама, потребность христианского мира объединиться создала в Риме духовный центр для всех христиан. Если бы императорская и папская власть могли войти в союз, в немецко-римской всемирной западной империи могло бы произойти то же самое, что произошло в восточной, византийской империи, где духовная и светская власть соединилась в одном лице. Тогда властелин, облеченный этой двойною властью, был бы вдвое могущественнее и соединял бы христианские силы на всемирную борьбу крестовых походов гораздо плотнее, чем они собирались без того: в центре Европы, в Италии и Германии, возникли бы такая монархическая власть и такое государственное единство, которые послужили бы чрезвычайно сильным препятствием свободному национальному и политическому развитию всей Европы.

(«§: Стремления к всесветному владычеству».)

Манера рассуждения, также очень часто встречающаяся у историков и публицистов. Будто так легко решить, вредно или полезно было бы то, что не осуществилось, потому что не было возможно. — Положим, Германия и Италия в X—XV веках составляли одно государство. Одно, действительно, было бы гораздо сильнее всякого другого отдельного государства. Но что ж из того? Вредно или полезно было бы это развитие? Во-первых, другие государства могли бы отстаивать свою независимость союзами; может быть, успевали бы отстаивать ее и порознь, — ведь защищаться гораздо легче, чем завоевывать. Но положим, и не отстояли бы; что ж из того? Было бы очень много систематического, законного стеснения развитию; зато было бы несравненно меньше междоусобиц и беспрестанного грабежа по кулачному праву, — может быть, этою выгодною перевешивалась <бы> невыгода? — Но главное, ведь все это чистая фантазия, — а между тем, из нее делается вывод: следовательно, то, что было, было очень хорошо для интересов развития. — Если не было лучшего, значит, не могло быть; но все-таки это <не> должно мешать видеть, что то, что было, было очень плохо.

«Видя такие успехи, — видя, что при всей наклонности испанского народа к дроблению и обособлению Фердинанд и Изабелла соединили раздробленную страну и в короткое время соединили в одно управление четыре королевства (не считая неаполитанского), даже республиканец Макиавелли признал, что абсолютизм государя приносит великие выгоды государству и народу⁴. Ради цели он извинял средства, общенародная выгода заставляла его прощать дурные стороны дела, и он утдад дух новой истории, предсказав при самом рождении абсолютизма, что для основания нового государственного порядка на развалинах отживших средневековых форм необходима эта единодержавная, неограниченная власть, что она будет даже благотворна, если не продлится слишком много времени, а будет подготовлением к владычеству закона, школою для свободы; этим резким теоретическим афоризмом он высказал вывод из опыта, уже бывшего в древней истории. Конечно, не мог же он, прославляя в особенности новую власть Фердинанда, предвидеть, что именно Испания раньше всех других государств испытает

тот факт, что королевский абсолютизм излишнею продолжительностью и преувеличенностью своею обратится во вред более тяжелый, чем каким было господство аристократии, — что потом это испытают и все другие страны». (§: Роль королевского абсолютизма при основании испанской монархии.)

Тут опять такая же спутанность понятий, как в предшествовавшем отделе о значении абсолютизма. При данных обстоятельствах должна возникнуть известная историческая форма, — вот суждение, приличное историку. Если ему угодно прибавить свое суждение о том, полезна или вредна была эта форма в свое время, он должен рассмотреть, какими особенностями обстоятельств было произведено то, что явились особенности, которыми эта форма отличается от других. Народы стремились к национальному единству и благоустройству, — тут еще нет ничего особенного, характеристичного для той или другой формы. Но это стремление видоизменяется разными местными и временными условиями. Каковы эти особенности, такова и форма, принимаемая государственным устройством. Хороши они — и оно хорошо; дурны они — и оно дурно. А Гервинус, по обычаю большей части историков, смешивает общую черту стремления с особенностями, которыми она видоизменяется, и переносит на форму, порожаемую этими особенностями, то суждение, которое внушается ему симпатиею или антипатиею к общему стремлению. Чтобы не углубляться в политику, поясним дело примером из другой сферы народной жизни. У всех народов существует стремление к справедливости. Из него возникают, между прочим, уголовные законы. Но они у разных народов и в разные времена очень различны. Их различие происходит уже не из самого стремления к справедливости, а из особенных обстоятельств народной жизни. При одних условиях являются законы, постановляющие жечь ведьм, при других — наказывать того, кто жестоко поступает с лошадьёю. Историк обязан показать, из каких особенностей народной жизни явился тот закон и другой закон. — Если ему угодно иметь суждение о степени достоинства того или другого закона, пусть он рассудит, хороши или дурны особенные условия, <в силу которых> возник закон; а историки, — в том числе и Гервинус, — вместо этой солидной оценки прямо переносят на частный закон свое мнение о стремлении к справедливости — это, конечно, гораздо легче, но из этого выходит вздор, сбивающий с толку их и их читателей. «Закон о сжигании ведьм удовлетворял стремлению англичан XV века к справедливости; следовательно, он был полезен в XV веке», — да нет же: он удовлетворял не общему стремлению к справедливости, а омраченной невежеством трусливости, — может быть, он и был полезен для XV века, но основание для суждения взято неверное. Или: «Закон, наказывающий за жестокое обращение с лошадьёю, удовлетворяет стремлению к справедливости в англичанах XIX века; следовательно, он полезен в XIX веке», — да нет же, он удовлетворяет не общему стрем-

лению к справедливости, а особенному виду добродушия; может быть, он полезен для XIX века, но опять основание для суждения взято неверное. — Из этого смешиванья общих стремлений с особенными условиями, видоизменяющими их, возникает восхваление всего и порицание того же самого без разбору; — все признается за хорошее, пока растет, признается, и все признается за дурное, когда ослабевает. Пока абсолютизм рос, он, по мнению Гервинуса, был хорош; теперь он в Западной Европе слабеет, — следовательно, теперь он дурен, по мнению Гервинуса. Это манера рассуждения, очень любимая историками, но совершенно недостойная науки. Возрастанием известной формы доказывается только, что обстоятельства благоприятствуют ей; упадком ее — только то, что они не благоприятствуют ей. Обстоятельства могут быть благоприятны дурному, неблагоприятны хорошему. В XV веке обстоятельства благоприятствовали одинаково в Испании и развитию морской торговли, и развитию инквизиции; называйте какой угодно из этих фактов полезным, — другой вы непременно должны назвать вредным, потому что он противоположен ему. Итак, некоторые из фактов, развивавшихся в XV веке, были полезны, другие — вредны. В XIX веке обстоятельства благоприятствуют в Англии и развитию обществ трезвости и развитию употребления опиума, — вероятно, один из этих фактов противоположен другому; благоприятствуют повсюду и упадку жестокого обращения мужей с женами, и упадку правильной семейной жизни, — кто радуется одному из этих упадков, не может радоваться другому. Что является, то является по необходимости; что исчезает, исчезает по необходимости; если в известное время еще нет известного явления, значит, оно еще невозможно; если в известное время уже нет известного явления, значит, оно уже стало невозможно. Но совершенная нелепость заключать из этого: «итак, оно было бы вредно в те времена», — оно только невозможно. Было ли бы дурно, если бы на Шпицбергене росли ананасы? Это было бы очень хорошо; если они там не могут расти, из этого не следует, что вредно было бы есть ананасы жителям Норвегии, которые получали бы их из Шпицбергена. Это все выводы из таких фантазий, которые неприличны для людей с здравым смыслом. Разбирайте характер сил, которыми производится факт, — только тогда <вы> вправе судить, хорош он или дурен; а усиление или ослабление его вовсе не мерка для его достоинства.

«Вспомним же, что эта всесветная корпорация была в безусловной зависимости от наместника христового, которому присваивались божеские произвол и непогрешительность, — и мы увидим, что даже в конце средних веков эта власть имела средства, почти достаточные для того, чтобы направлять всю государственную и умственную жизнь по узкому иерархическому взгляду; вспомним, что в начале XVI века она, вновь усилившись сама, действовала, кроме того, в союзе с абсолютизмом государей, в теснейшем единении с могущественнейшею из новых династий, была госпожою и повелительницею в римской империи немецкой нации, — и мы поймем, что начало XVI века

было самым критическим временем для решения вопроса: будет ли Европа подавлена однообразным давлением иерархии или неограниченной власти государей, союзом обеих этих мощных сил, — или пойдет по пути национального и свободного развития»).

(«§: Папство. — Духовная всесветная монархия».)

В теории, папа приписывал себе огромную и всесветную власть, это правда. Но очень скучно читать, когда серьезно расписывают его будто бы действительное могущество соответственно этой теории. Мало ли какие теоретические претензии и права не имеют действительной силы? — В титуле королей французских стояли слова: король Иерусалимский⁵ и король Кипрский; в титуле королей Карла I, Карла II, Иакова II английских стояли слова: «король французский»⁶, — не внесли ли бы мы в историю совершенно фантастическую путаницу, если бы стали на этом основании рассуждать, какие выгоды извлекал Людовик XIV при постройке флота из прекрасных своих ливанских лесов, из гаваней Бейрута и Яффы; с каким удовольствием французы повиновались явному католику Иакову II и тайному католику Карлу II, — да ведь этого не было, ведь эти претензии оставались пустыми словами. — Власть папы в Европе всегда очень похожа была на власть Верховного союзного суда Соединенных Штатов: по теории, ему приписывалась громаднейшая политическая сила, он был решителем всяких политических споров, — господствовал над конгрессом и президентом; кому нравилось упражняться в риторике, тот писал пышные рассуждения об этом. Можно было подбирать факты в подпору риторике: Союзный суд произнес несколько решений в пользу плантаторских прав над невольниками против северных штатов; конгресс преклонялся перед этими решениями, президент приводил их в исполнение, как покорный слуга «верховного органа справедливости в Союзе». Точно так папа говорил французскому королю: «повелеваю тебе уничтожить орден тамплиеров, впавших в ересь»; говорил Симону Монфору: «повелеваю тебе истребить еретиков альбигойцев»; немецким герцогам: «повелеваю вам восстать на вашего императора Генриха IV»⁷, — и т. д. — и это исполнялось. — Вот и довольно материалов для риторики. — Но в чем действительная штука? Союзный суд Соединенных Штатов был орудием, ничтожным и раболепным орудием плантаторского большинства конгресса и плантаторского президента; они поручали Союзному <суду> облекать в юридическую форму их волю, — Союзный суд с удовольствием делал это, потому что состоял из плантаторских юристов. — То же с папою; — Филиппу Прекрасному⁸, Симону Монфору, немецким герцогам хотелось сделать то, что они сделали; у них были силы, нужные для того; никто из них не церемонился грабить католическую иерархию и ослушиваться папы; но если в данном случае можно получить одобрительный аттестат своему поведению от папы, то почему не взять от папы такой аттестат? —

И брали, как конгресс и президент от Союзного <суда>; это была пустая юридическая формалистика, разумеется, не лишенная приятности и выгоды для тех, кто ею пользовался, — вообще, когда имеешь фактическую силу, то не вредно иметь и пергамент, на котором чьею бы то ни было рукою написано «похваляю и одобряю». И эту комедию лицемерного добывания аттестатов от папы принимают за серьезное содержание истории! — и ораторствуют: «папа! папа! папа!» — Скучно и смешно. — Разумеется, католичество имело некоторую действительную силу, глава католичества, папа, — конечно, тоже: все, что существует, имеет какую-нибудь действительную силу, — даже королева Виктория в Англии; даже покойный <ее> супруг добывал ордена и генеральские чины раньше срока офицерам своего штата, — впрочем, точно, хорошим офицерам. Но ведь смешон был бы историк, который принял <бы> за выражение действительности официальные формулы: «я, королева Виктория, объявляю войну богдыхану китайскому» — известно, что войну ему объявил Пальмерстон, «я, королева Виктория, назначаю виконта Пальмерстона министром», — его назначила министром палата общин; «я, королева Виктория, повелеваю отменить пошлину с привозного из-за границы хлеба» — пошлину отменили фабриканты. Это не мешает королеве Виктории иметь некоторое влияние на английские дела, но влияние ее — совершенно второстепенное; в сущности ей принадлежит только почет, формальное уважение. Таково же всегда было в сущности (и остается) положение католичества и его главы, папы: почет, формальное уважение без действительной силы. Отчего это? — Существовала (и продолжает существовать) известная теория, совершенно не сходящаяся с жизнью, а служащая только для размышлений, для упражнений в поэзии, — католичество и папа — олицетворения этой теории. Сидит какой-нибудь французский или немецкий поселянин с женою и с детьми у камина или у печки и мечтают: «мы католики, мы обязаны, как католики, делать вот как: не дорожить земными благами и самою жизнью, не брать лишнего за товар» и т. д. Пока они мечтают, сидя у печки или у камина, оно так и есть, и по этим мечтам, начальник над ними — католический священник, а царь над ними — папа. — Но входит к ним действительная жизнь в лице сельского начальника, говорящего: «барон требует подати, — не заплатите, он вас выгонит из избышки или вздернет на виселицу», — или выходят они сами в действительную жизнь, отправляясь на рынок продавать свой хлеб, — мечты разлетелись, перед ними барон и покупатель, они стараются взять подороже с покупателя, повинуются барону, священник и папа исчезли из их мыслей, как сонные грезы. А впрочем, грезы имеют некоторое влияние и на действительную жизнь. — Так теперь; так и всегда было. Человек всегда был человеком, даже и в средние века. Тогда он фантазировал несколько побольше на тему «папа», теперь — несколько поменьше.

Но в сущности история католицизма принадлежала всегда к истории поэзии, а не собственно к политической истории⁹. В политической истории те же лица, та же корпорация, — папа, прелаты, аббаты, католические монашеские ордена и белое духовенство, — играли совершенно другую роль, — все равно, как Кювье был геолог и в качестве геолога нимало не заведывал французскою администрациею, а с тем вместе был членом государственного совета и в этом качестве был, говорят, очень дельный администратор¹⁰; — как Ньютон был отличным директором монетного двора¹¹ и чеканил прекрасные гинеи, кроны, шиллинги, пенсы, без всякого отношения к своим трудам по части астрономии; или как Гете был министром¹², и, говорят, плохим министром, — и Вильгельм Гумбольдт, бессмертный автор «Исследования о языке Кави на острове Яве» — тоже был, говорят, хорошим посланником и министром¹³; и Нибур был отличным финансовым администратором¹⁴. Не смешно ли было бы, основываясь на этих фактах, толковать об административном значении геологии во Франции в 1820—1830 годах, астрономии в Англии в конце XVII и начале XVIII века, поэзии и филологии и науки римской истории в Германии в конце XVIII века и начале XIX века? А ведь, пожалуй, можно: все эти великие ученые возвысились по административной части за свою ученую репутацию — важность мест, занимаемых ими в царстве науки, дала им важные места в государственной администрации; и Гете сделался министром исключительно благодаря своей поэтической важности.

Точно так же ученая известность, богословская известность всегда доставляла (и доставляет) людям влияние на администрацию. — Почему ж не назначить Фенелона, такого доброго и отличного человека, воспитателем дофина? Почему не поручить Боссюэту, такому отличному аргументатору, составлять деловые записки?¹⁵ — Конечно, епископское звание Фенелона и Боссюэта несколько отразится на их педагогической или дипломатической деятельности, но лишь несколько, очень второстепенным образом, — в сущности, Фенелон, как воспитатель дофина, будет действовать не как епископ, а как человек честный и мягкий, чуждающийся интриг, а Боссюэт — как проныра, угождающий прихотям двора. Поэтому они становятся в противоположные лагеря; и Боссюэт подкапывается под Фенелона. — Это — одна сторона значения духовных лиц в политической жизни. Она не имеет почти ничего общего с историею церкви, кроме того, что церковная известность или важность дает человеку рекомендацию для политической деятельности и этот человек ведет свою политическую деятельность по своему природному характеру, по своим личным расчетам, по своим нравственным или политическим убеждениям, — по элементам, не имеющим никакой особенной связи с его духовным саном, с католичеством и папою. Знаменитейшие представители этой роли духовных лиц в новом государстве —

кардиналы Ришелье и Мазарини, поддерживавшие протестантскую Европу против католической. В их государственной деятельности столько же кардинальского или духовного, сколько в деятельности герцога Веллингтона (вынудившего у торийской верхней палаты согласие на дарование политических прав английским католикам) или сэра Роберта Пиля (который, будучи сам вынужден к тому вигами и О'Коннелем¹⁶, заставил Веллингтона сделать это). — Средние века наполнены такими администраторами.

Кроме администраторов с духовными титулами, были государи с духовными титулами. Они отличались от государей со светскими титулами двумя чертами. Во-первых, они были безбрачны. Поэтому их семейная жизнь никогда не имела законного нравственного характера, какой иногда имела семейная жизнь светских государей, — вообще, была несколько скандальнее; но лишь несколько, потому что, вообще, любовницы бывали и у светских государей, а наложницы у государей с духовными титулами были уже будто законными лицами придворного штата. — Во-вторых, государи с духовными титулами реже сами командовали войсками в походах, чаще поручали звание главнокомандующих своим генералам. Но обе эти черты разницы — черты нравов, обычаев, а не черты административного или политического различия. Государи с духовными титулами были совершенно светскими государями в своей политике.

Что остается затем? Все-таки остается масса католического духовенства, не имеющего независимых владений и административных должностей. Оно составляет разные корпорации: маленькие местные — капитулы кафедральных церквей и монастырей; большие, повсеместные корпорации — католические монашеские ордена. Каждая из них одушевлена своим корпоративным интересом; интерес этот совершенно житейский, мирской, светский: материальное благосостояние, богатство, роскошь, почетное положение в обществе, благосклонность сильных людей. — О католичестве тут столько же речи, сколько <между> манчестерскими фабрикантами или нашими казанскими купцами. Но нет, не так: заботы ровно столько же, а речей гораздо больше. Надобно же говорить о чем-нибудь, — манчестерские фабриканты говорят, что Манчестер — душа вселенной, и они служители всяческого прогресса; казанские купцы — что Казань — первый город в России после столиц, и если есть в ней коммерческий клуб (чего я не знаю) — то что общество, собирающееся в этом клубе играть в преферанс, — отличнейшее общество; у католических духовных корпораций речи о том, что католичество — отличная вещь. Но все это только праздные речи: карман и желудок гораздо интереснее прогресса для манчестерских фабрикантов, коммерческого клуба (может быть, даже еще и не существующего) для казанских купцов и католичества — для этих корпораций. Слишком большая наивность — серьезно слушать эти речи, да еще писать патети-

ческие страницы о них в исторических сочинениях. Когда интересы корпораций сталкиваются, корпорации борются, расходятся во враждебные лагеря. В Германии, например, один орден отбивает у другого выгодную продажу индульгенций, — обиженный орден переходит на сторону Лютера. — Все, что выгодно, захватывается каждою корпорациею. Доминиканскому ордену представлялся выгодный случай захватить в свои руки инквизицию — он жжет еретиков и толкует о строгой верности догматике¹⁷. Но что ж тут особенного? — Чиновники с светскими названиями должностей делали бы точно то же, точно так же усердно. — Другой орден рождается после, видит, эта часть уж захвачена — не отобьешь ее у доминиканцев, а вот можно получать тоже порядочные выгоды на должностях духовников, а духовники нравятся снисходительные, гибкие, прощающие и разрешающие все, — и поэтому иезуиты проповедуют: все пустяки — и догматика пустяки, и нравственность — вздор — «благословляю на вся», — и тут нет ничего особенного: обыкновенное угодничество горничных и камердинеров к своим господам и господам. Слово «камердинер» заменилось в известных случаях словом «иезуит», — для известных должностей имя иезуит служит хорошею рекомендациею — только; парикмахера надобно брать из Парижа, телохранителя — из Швейцарии, духовника — из иезуитского коллегиума. Прекрасно. Но что ж из этого? Парикмахеры, швейцары — существовали для господ, делали то, что угодно было или выгодно было господам; благодаря своему усердию и искусству в отправлении своих обязанностей жили в довольстве, — пользовались известным почетом, — могли помогать своим родственникам и приятелям устраивать тоже более или менее приятные карьеры. Но где ж их самостоятельное, оригинальное, независимое от воли господ влияние на историю? Разве моды прически головы создавались парикмахерами? Разве произвольная власть порождена по желанию телохранителей? — То же и иезуиты. То же и доминиканцы. — «Причесывай голову, вот тебе плата за это». — «Извольте, граф, с удовольствием». — «Потакай мне, вот тебе плата за это». — «Извольте, графиня, с удовольствием». — «Жги мавров и жидов за еретичество, вот тебе плата за это». — «Извольте, Филипп II, с удовольствием». Парикмахеры, швейцары, иезуиты, доминиканцы — это явления очень интересные для психолога, для романиста в стиле Вальтера Скотта, но история двигалась не ими и никогда не зависела от них.

Если таким образом поразберем подробнее историческую роль католического духовенства, мы увидим, что оно было совершенно светским деятелем в большей части того влияния своего, по поводу которого пишутся риторические упражнения на тему «колоссальная сила католической церкви» в средние века или перед реформациею, или после в Испании, и т. д. В одних случаях епископы, аббаты, монахи были только особенные имена придворных,

или администраторов-чиновников, или служителей, ничем не отличавшихся от людей, служивших под светскими титулами; в других случаях епископы и аббаты были совершенно светскими государями и владельцами; в-третьих — авантюристами, прислуживавшими прихотям; в-четвертых — рентьерами, заботившимися об исправном получении или увеличении своих доходов и проживавшими их в свое удовольствие. Что же остается за исключением этих чисто светских элементов, — какую роль имела католическая церковь как духовное учреждение и корпорация католического духовенства как духовное сословие?

Историческое явление, называемое католичеством, по существу своему было известным направлением или настроением поэтического элемента в жизни масс. Это католичество не должно смешивать, конечно, с ученою догматикою, излагавшеюся в богословских сочинениях. Она заключала в себе, между прочим, и те идеи, которыми составлялось народное католичество, но, кроме того, в ней было чрезвычайно много вещей, совершенно неизвестных массам, да и те вещи, которые были ей общи с понятиями массы, она понимала в смысле, более или менее различном от их значения для массы. Основными чертами народной поэзии, называвшейся католичеством, были идеи: небесного правосудия, которое не требует содействия человеческого, чтобы сокрушить зло и дать победу добру; провидения, пути которого непостижимы; загробной жизни, в которой будет дано сторицное и вечное вознаграждение за всякую обиду, за всякое страдание на земле; терпения, требуемого покорностью перед провидением и надеждою на будущую жизнь; страдания, приближающего людей к вечному блаженству; отречения от земных благ для приобретения небесных, и т. д. Почему народная религиозная поэзия получила и сохранила такой характер, это вещь известная: люди чувствовали свою беспомощность против невзгод, чувствовали свое бессилие понять то, что делается вокруг них и над ними самими. — Но если настроение их мечтательности произошло из этих данных, то, овладев их мыслями, оно в свою очередь стало поддерживать те черты их житейского и умственного положения, которыми было порождено. До какой степени сильно было это обратное влияние поэзии на жизнь? — вопрос, мало исследованный; по поверхностному обзору представляется, что оно было сильно; но это впечатление противоречит общему принципу психологии, что сила воображения, мечты, поэзии очень невелика перед силою действительности. Лично я склоняюсь к мнению, что влияние было довольно слабо; но не смею выдавать этого за достоверную истину. А во всяком случае, более или менее слабое влияние существовало, с этим нельзя спорить. — Спрашивается теперь: каково же было отношение этого влияния к интересам действительных (а не мечтательных) властей? Ясно, что оно соответствовало их интересу. Потому они вообще поддерживали поэзию, выгодную для них.

Прямым образом воздвигая эту поэзию, ее охранение от критики, ее усиление против холодности к ней было специальною духовного сословия именно как духовного сословия. Таким образом, общий исторический факт состоит в том, что духовное сословие, как духовное сословие, проповедывало и действовало, сознательно или бессознательно, в интересах действительной власти, а эта власть — светская власть — покровительствовала такому учению и сословию пастырей, заботившемуся о его распространении, усилении, поддержании. Было много частных исключений из этого: духовные пастыри иногда становились демагогами, иногда проповедниками национальной борьбы против иноземцев, — что ж делать, они были люди и увлекались иногда мотивами, противоположными характеру их звания и общих своих убеждений. Например, во время Лиги¹⁸ католические священники пристали к демократам. Но это были временные и местные отклонения, не сглаживавшие общего характера, с каким является духовное сословие: говоря вообще, оно всегда служило — по духу своих религиозных наставлений народу — слугою существующего порядка, предержащих властей.

«Но не успел Карл V исполнить свои планы для упрочения всесветного владычества своего дома, еще не успел и обдумать их, как не только его работа, но и гордое здание римского владычества в Германии было разрушено одним ударом¹⁹. Соперничество папы с императором и теперь, как в средние века, много содействовало низвержению могущества их обоих; но главною причиною их падения и теперь, как прежде, была внутренняя невозможность слияния немецкой и римской натуры. Всё в Германии возмущалось против двойного, испанско-итальянского, ига: наука и жизнь, образованность и невежество, нравы и страсти, умственная свобода и фанатизм, интересы всех сословий сверху и снизу, от короля до мужика, — весь дух немецкого народа. В скромных формах самое величественное содержание имеет история этого немецкого движения с той поры, когда смелость и глубина мысли Лютера пробудила немецкий дух в церковной сфере, — повела нападение не на одну внешнюю жизнь папы, но и на его власть, и — в чем была главная гордость реформатора, — на его учение, а вместе с его учением разрушила крепчайшую опору его силы, на заблуждение и суеверие, — с этой поры до той, когда Мориц Саксонский в светской сфере побил императора по его же собственному методу и в несколько дней уничтожил замыслы и работу десятилетий²⁰. Этим движением история сделала такой шаг вперед, какого не делала в целые столетия, проложила такой широкий путь, что человечеству понадобились целые столетия, чтобы вполне освоиться с новым своим положением, радостно сознать, что приобретено им».

(§: «Реакция реформации папству и императорству».)

Само собою, что в этой риторике есть некоторая доля истины, — нельзя же выводить узоров без всякого фона; но фон истины очень беден тут сравнительно с пышными узорами ретирики, выведенными на нем (не собственно изобретательностью самого Гервинуса, а совокупными трудами всяких полулиберальных и полудиолопоклонничающих историков. Подробное замечание отложим до конца рассуждения Гервинуса о реформации).

«Открытие Америки и реформация с своими последствиями составляют существенное содержание внешней истории следующих столетий и обуславливают собою результаты перемен в их цивилизации. Романские и германские народы будто разделили между собою эти два великие факта. Колонизация Нового Света считалась сначала исключительным правом Испании и Португалии: целое столетие они одни вели это дело в широком размере. А реформация до сих пор осталась почти исключительною собственностью народов чистого немецкого племени».

(§: «Открытие Америки. — Реформация».)

Можно судить о младенчествующем состоянии исторических идей в головах большинства историков уже по одному этому теоретизированию о «разделе двух великих фактов между двумя племенами». Гервинус, к несчастью, не сам выдумал это, — такими штуками наполнены книги, сотни и тысячи томов. Начать хотя с Америки. Существенное влияние на ход всемирной истории Америка получает с конца прошлого века, с войны за независимость Соединенных Штатов²¹. Единственная часть ее, — существенно важная до сих пор для всемирной истории, — все те же Соединенные Штаты. Этот народ — северо-американцы, — народ английский, немецкого племени. До войны за независимость Соединенных Штатов важнейший факт американской истории — история колонизации, из которой произошли Северо-американские штаты. Перед этим фактом все остальные имеют лишь второстепенное значение. Из этих второстепенных самые важные — перенесение картофеля и распространение табаку — принадлежат истории сельского хозяйства и нравов частной жизни, а не истории государственного быта, связь с которым у них очень далека. Что затем? — Невольничество негров в Америке — вещь, бывшая издавна довольно важною в истории морской торговли и пиратства, а в истории государственного быта получившая важность только уже в наше время и опять — пока еще только в истории народов немецкого племени, у англичан и северо-американцев. — Что ж остается на долю романского племени? Путешествия и открытия Колумба, очень важные в истории географии; авантюризм Кортеса и Пизарро, очень интересный в драматическом отношении²². Говоря серьезно, из романской доли деятельности в Новом Свете произошло до сих пор только одно событие, важное для всеобщей истории: наплыв благородных металлов, сильно уронивший ценность денег в течение XVI века²³. Это очень важная глава в истории звонкой монеты, а история звонкой монеты — довольно важная глава в истории цен, а история цен — не очень важная глава в истории экономического быта; — вот и все. Колонизация испанских земель в Америке была домашним делом самой Испании, не имевшим особенного значения в ее частной истории и почти ровно никакого во всемирной, — до сих пор; со временем американские земли, заселенные испанским племенем, конечно, будут играть роль во всеобщей истории, но когда-то еще

будут, а до сих пор этого не было и нет. Очень много великолепных фраз написано о том, что король испанский владел в Америке громаднейшими пространствами, с богатейшими серебряными рудниками, что в «его владениях никогда не заходило солнце», и проч.; все это очень картинно, но американские владения не служили большим подкреплением сил Испании. Испания, владевшая Неаполем²⁴, была сильнее, чем была бы без этого владения; но владела ли она Мексикою и западною половиною Южной Америки или не владела, это было решительно все равно для хода всеобщей истории.

«Это столь важное для судьбы человечества распределение двух величайших событий между двумя главными племенами Европы уже было достаточно причиною для произведения между ними раздора, выказавшего существеннейшие черты противоположности их натур и поставившего их в самую резкую вражду. Успешные войны с маврами и открытие Америки имели два последствия: придали внешней политике испанских королей решительное направление к расширению владений и теснейшим образом связали их с римскою церковью».

Что особенного в этом стремлении испанских королей? Всякая династия всякого государства стремилась расширить свои владения. Эта общая «решительная» черта «внешней политики» всех династий всех стран, от времен Семирамиды²⁵ до времен королевы <Виктории>, происходит вовсе не от мавританских войн и не от открытия Америки, а от врожденной людям страсти к приобретению: каждый стремится иметь побольше, захватить побольше, — в этом и весь секрет.